

---

---

## ДВЕ ВСТРЕЧИ С МАЯКОВСКИМ

Это было очень давно, лет сорок пять назад. Пишущий эти строки через год должен был кончить гимназию. Однажды кто-то из школьных друзей предложил мне соблазнительную перспективу: пройти в «Литературно-художественный кружок», место, куда не так-то просто было попасть бедному гимназисту, и поглядеть, как будут чувствовать поэта К. Д. Бальмонта, только что вернувшегося из-за границы, его друзья!

На Большой Дмитровке (ныне Пушкинская улица) тогда, в 1913 году, стоял серый двухэтажный особняк в глубине двора. На месте этого двора сейчас возвышается здание Прокуратуры СССР. Там-то и помещался «Литературно-художественный кружок».

Мы вошли в небольшую, опрятную и скучноватую с виду залу. Народу в ней было немного, человек пятьдесят. Сдержанный, пристойный, приглушенный говор. Множество дам и девиц, явившихся благоговеть и влюбляться. За столиком, впереди рядов, лицом к нам — энергичный, скуластый человек в черном сюртуке, наглухо застегнутом: он бородат, глаза у него узкие, черные, яркие, как у цыгана, пронзительные, — кажется, что резко подведенные углем глаза. Это Валерий Брюсов. Значительно позже я видел его много раз и близко узнал, но тогда, впервые увиденный, он произвел впечатление силы, резкости, угловатости.

Рядом с Брюсовым — другой, небольшого роста, с золотисто-рыжей шевелюрой и такой же бородкой, с красноватым остреньким носиком, вздернутым как-то не по возрасту дерзко и наивно; на носике золотое пенсне с шелковой лентой. Он тоже в черном сюртуке, в высоком, подпирающем шею крахмальном воротничке и черном шелковом галстуке, закрывшем всю белую манишку. Это

герой вечера — Бальмонт. Он рассказывает о своем путешествии в Мексику. Рассказ пестрит такими словами, как Вицтлипохтли, Тлаксотлан, Коатликуэ, Койоакан... Говорящему очень нравится произносить эту трудную экзотику. Он отчеканивает сочетания согласных, поет на гласных, чуть гнусавит и картавит. Слушательницы благоговеют. Брюсов неподвижен, как каменный идол. Все идет пристойно.

В заключение Бальмонт рассказывает, что на обратном пути из Америки он задержался в Париже и был приглашен для выступления некоей группой политэмигрантов. Его дружески встретили и наградили между прочим званием «работника просвещения». Звание не понравилось представителю чистого искусства. Картавя и жеманясь, он привел экспромт, которым отпарировал незаслуженную честь:

Нет! Неправда! Это шутка.  
Разве я работник? Нет!  
Я по снегу первопутка  
Разбросал везде свой след.  
Я порою тоже строю  
Скрепя нежного гнезда,  
Но всегда лечу мечтою  
В неизвестное, — Туда!

Этим признанием певчей птицы закончилось выступление Бальмонта. Раздались хлопки, сдержанные, приглушенные, совсем не такие, какие раздаются на поэтических вечерах в наше время. Так гости аплодируют застольному тосту хозяина. Поистине в этом уважающем себя, солидном, благовоспитанном обществе Бальмонт казался очень своим: чьим-то двоюродным братом, чьим-то дядей или крестным отцом.

Отрывистым, лающим голосом сказал Брюсов нечто долженствующее быть сказанным, казенно безразличное. Может быть, и еще были речи — не помню.

И внезапно, из задних рядов раздалось дерзкое, громкое, как будто ветер подул, как будто в открытое окно с улицы крикнули.

Отличный молодой бас произнес:

— Константин Дмитриевич! Позвольте приветствовать вас от имени ваших врагов!

Там стоял темноволосый, не слишком гладко приче-

санный юноша в блузе художника с ярким галстуком. Он усмехнулся и продолжал:

— Совлекайте, совлекайте с древних идолов одежды, Слишком долго вы молились, слишком долго вы мечтали.. —

так писали когда-то вы, Константин Дмитриевич. Сегодня эти строки полностью применимы к их автору. Вы сами сегодня устаревший идол.

Юноша говорил о том, что Бальмонт проглядел изменившуюся вокруг него русскую жизнь, проглядел рост большого города с его контрастами нужды и богатства, с его индустриальной мощью. И он снова цитировал Бальмонта:

Я на башню всходил, и дрожали ступени,  
И дрожали ступени под ногой у меня..

А сегодня, дескать, на эту верхушку взобралась реклама фабрики швейных машин: речь шла о том высоком доме на Невском проспекте в Ленинграде, где сейчас находится Дом книги.

Говорил он громко, напористо, по-ораторски, с великолепным самообладанием. Кончил объявлением войны Бальмонту и тому направлению поэзии, которому служит Бальмонт. Кончил и сел.

Долгое молчание. Брюсов по-прежнему кажется бесстрастным. Бальмонт усмехается как-то криво и беспомощно. Его было жалко. По рядам, где-то сбоку и сзади, шелестящий, свистящий шепот:

— Кто это?

— Кто это? Не знаете?

— Черт знает что! Какой-то футурист Маяковский... Недоучка... Училище живописи и ваяния... Пора домой!..

Больше сорока лет тому назад. Молодецкое, веселое и острое в облике и словах Маяковского не могло не врезаться в память и воображение. Оно казалось мне достойным и осуждения и подражания, пугало и радовало одновременно. Во всяком случае, оно начисто смыло тусклые краски вечера.

Прошло всего пять лет, срок недолгий, — но ясно, что это были годы, решающие не только в жизни отдельного человека. Ясна огромная значимость исторического рас-

стояния между 1913 и 1918 годом. Родился новый мир, и мы в нем жили.

Надо ясно представить себе Москву военного коммунизма, голодную и мужественную Москву, плохо освещенную, плохо топленную, в защитной шинели, в стоптанных сапогах. Так начиналась наша юность.

В одном из арбатских переулков проживала супружеская чета. Муж — в прошлом богатейший банковский воротила, ныне любитель-поэт, писавший под псевдонимом «Амари», составленном из французского «à Marie», то есть «для Марии». Таким образом, влюбленный любитель поэзии всего себя отдавал своей дражайшей половине. А она «держала салон», широко открытый для поэтической братии. В этом был весь пафос их жизни и призвание, а может, и свои корыстные цели: прославиться, войти в литературу.

В тот зимний вечер, в конце 1918 года, гостями их оказались чуть ли не все паличествующие в Москве поэты: тот же Бальмонт, Вяч. Иванов, Андрей Белый, Б. Пастернак, М. Цветаева, И. Эренбург, В. Инбер, Алексей Толстой, Н. Крандиевская, В. Ходасевич. Брюсова почему-то не было.

Близко к полуночи, когда уже было прочитано изрядное количество стихов, — с опозданием явились трое: Маяковский, Каменский, Бурлюк. Маяковский коротко объяснил хозяйке, что их задержало какое-то выступление, что они идут с другого конца города:

— Пешком по трамвайным рельсам, освистанные не публикой, а метелью.

Пока читали или дочитывали другие, он сидел в углу, сосредоточенный, чуть мрачный, готовился, как может готовиться трагический актер к тому, чтобы заразить накалом страсти, затопить сцену в слезах, умереть на глазах у любимой... Он схватил сцепленными руками колено и опустил прекрасную черную голову. За пять лет он разительно изменился: подтянулся и внешне и внутренне, похудел, стал стройнее, остриг и причесал когда-то непослушные патлы. Что-то было в нем от интеллигентного рабочего высокой квалификации — не то монтер-электрик, не то железнодорожник, ненароком забредший в особняк инженера из «красных». От него шла сдержанная, знающая себе цену сила. Он был очень вежлив, может быть, подчеркнута вежлив. Это было вежливостью победителя.

Прочел стихи о Стеньке Разине Василий Каменский, наивно вращая глазами и широко улыбаясь. Наступила очередь Маяковского. Он встал, застегнул пиджак, протянул левую руку вдоль книжной полки и прочел предпоследнюю главу «Войны и мира». Потом отрывки из «Человека» и последнее — новинку, «Левый марш». Я слушал его в первый раз. Он читал неистово, с полной отдачей себя, с упорительным бесстрашием, рыдая, издеваясь, ненависть и любя. Конечно, помогал прекрасный, патрированый голос, но, кроме голоса, было и другое — несравненно более важное. Не читкой это было, не декламацией, но работой, очень трудной работой шалашинского стиля: демонстрацией себя, своей силы, своей страсти, своего душевного опыта.

Все слушали Маяковского, затаив дыхание, а многие — затаив свое отношение к нему. Но слушали одинаково все — и старики, и молодые. Алексей Толстой бросился обнимать Маяковского, как только тот кончил. Ходасевич был зол. Маленькое кошачье лицо его щерилось в гримасу и подергивалось. Особенно заметным было возторженное внимание Андрея Белого. Он буквально впился в чтеца. Синие, сапфирные глаза Белого (чуть было не сказал очи!) сияли. Как только Маяковский кончил, Андрей Белый взял слово. Он сказал, что еще в годы мировой войны ждал появления «такого поэта» — с кругозором, распахнутым на весь мир, — что-то в этом роде. Кажется, речь шла и о черепной коробке, поднявшейся над мозгом в звездные пространства. Словом, это было безоговорочным и очень взволнованным признанием со стороны очень далекого человека.

— Что ж, Володя, если нас признал такой поэт, как Борис Николаевич, — начал было юродствовать Бурлюк, но Маяковский только слегка повел на него бровью, слегка скосил глаза, и Бурлюк немедленно притих, ушел в угол и закурил трубку.

Хозяйка позвала к столу. Маяковский поднялся первый, подошел к ней и грациозно предложил ей руку. Она залепетала что-то о нравственном потрясении, испытанном от его декламации, а он почтительно, хотя и несколько звучнее, чем следует, целовал ей руку.

Стол был ярко освещен и завален великолепной, неслыханной по тем временам едой: телячьи окорока, огромные рыбы в ледяном желе, куски желтого масла, графини

с замороженной водкой — все это изобилие сверкало и предлагало себя.

После первой же стопки поднялся Бальмонт. Он очень легко пьянел. В руке у него была маленькая книжка. Он прочел только что написанный, посвященный Маяковскому, сонет:

Меня ты бранью встретил, Маяковский...

Помню одну только эту первую строку. В дальнейшем предлагалось забвение и мир, не надо, дескать, помнить зла: «я не таковский», — так, очевидно, кончился второй катрен сонета.

Маяковский доброжелательно улыбался, был немного сконфужен, попросил, чтобы Бальмонт отдал ему свое произведение.

— Володя, почему это у него отваливается нижняя челюсть, когда он жует телятину? — снова начал Бурлюк, показывая пальцем с огромным перстнем на кого-то из молодых новичков (это был я). И снова Маяковский резко одернул своего Санчо Пансо.

Вообще в нем чувствовалось желание быть корректным в этом буржуазном, втайне враждебном к нему доме. Повторяю: так держат себя победители.

С приветом, со словами дружбы и признания обратился Маяковский к Пастернаку, обменивался шутливо незначащими репликами с Цветаевой.

Вскоре мы встали из-за стола и далеко за полночь разошлись восвояси по снежной, безлюдной, раскрытой пасти для великого будущего Москве.